

Введение. Память о лагере, визуальность и язык травмы

1. Плен в социальной памяти японского и российского общества

Обстоятельства пленения. В годы Второй мировой войны Япония была союзником Германии. В апреле 1941 г. Советский Союз и Япония заключили Пакт о нейтралитете. В течение войны советское руководство опасалось внезапного нападения Японии вслед за Германией и держало на восточных границах СССР до 28 % военных сил РККА. После капитуляции Германии Япония по-прежнему находилась в состоянии войны с союзниками СССР, и вопрос об отношениях с Японией был частью проблем послевоенного устройства мира, обсужденных в Потсдаме. Потсдамские договоренности зафиксировали готовность СССР объявить войну Японии через три месяца после подписания Пакта о капитуляции Германии. Для СССР речь шла о региональном мироустройстве на Дальнем Востоке. Конкретная дата начала военных действий была определена атомной бомбардировкой Хиросимы ВВС США.

Денонсировав Пакт о нейтралитете, СССР 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. Красная армия начала военные действия на оккупированной территории Маньчжурии и Южном Сахалине, территории Японии. Военная кампания была короткой.

После Рескрипта императора Сёва от 15 августа 1945 г. Квантунская армия сложила оружие. Здесь, как сформулировал австрийский историк плена С. Карнер, капитуляция не была вопросом бесчестия, а необсуждаемым решением императора.

23 августа 1945 г. председатель ГКО И.В. Сталин принял решение об использовании японских военнопленных на хозяйственных объектах в СССР [Катасонова: 39], что было подробно изложено в постановлении ГКО № 9898сс «О приеме, размещении, трудовом использовании военнопленных японской армии» [Военнопленные: 46].

Как считает Е. Катасонова, ссылаясь на воспоминания Рокуро Сайто и на письмо Верховного командования Японии маршалу А.М. Василевскому от 21 августа 1945 г., предложение «использовать японских военнопленных в качестве бесплатной рабочей силы вплоть до лишения их японского гражданства, если это будет продиктовано интересами советского руководства», исходило от японской стороны [Рокуро. Сибэриа-но банка: 208–209, цит. по: Катасонова: 53].

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 г. на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. Квантунская армия перешла в Маньчжурии в распоряжение РККА. Советскими войсками было взято в плен 639 776 военнослужащих бывшей японской армии [Военнопленные: 337]. Руководству страны надо было решать, что делать с огромным количеством военнопленных. Будучи юридически военнопленными, они были де-факто интернированы в СССР.

На территорию СССР было перемещено, по одним данным, 547 261 военнопленных и интернированных [Карасев 2007: 35], по другим данным. — более 640 000 чел. [Галицкий 1999: 69]. Кроме военнопленных в СССР было интернировано 3706 гражданских лиц [Военнопленные: 294], если не считать гражданское население Южного Сахалина (160 000) [Российско-японские отношения: 532]. Все они на несколько лет, в среднем от 2-х до 6-ти, были заключены в лагерь ГУПВИ.

Принуждение военнопленных к труду в СССР, которое рассматривалось как репарация за участие во Второй мировой войне, обеспечивало освоение собственных советских территорий. Если в 1941–44 гг. для этих целей в плохосвоенные восточные и южные районы страны возили эшелонами «подозрительные» и «наказанные» народы СССР, обеспечивая их рабочими ресурсами, то по ее окончании в тех же масштабах и теми же составами перевозили пленных из Маньчжурии. Специфика этого освоения заключалась в том, что рабочая сила была представлена иностранцами, временно колонизованными в статусе военнопленных. Японские пленные оказались в разных регионах большой страны: в г. Краматорске на Украине, в Ивановской и Московской областях, в Татарстане и Грузии, во всех республиках Средней Азии, но подавляющая часть военнопленных оказалась в Сибири и на Дальнем Востоке СССР. Поэтому географическим символом плена стала именно Сибирь.

Интерес к сибирскому пленению солдат Квантунской армии появился в общественном дискурсе России в связи с официальным визитом президента СССР М. Горбачева в 1991 г. и официальным визитом президента РФ Бориса Б. Ельцина в Японию в октябре 1993 г., в ходе которого Россия признала антигуманное отношение к японским военнопленным со стороны сталинского режима, за что Б.Н. Ельцин принес общественности Японии извинение от имени российского народа [Катасонова: 11].

Первыми результатами контактов на официальном уровне стали приезды японских делегаций в поисках заброшенных лагерных кладбищ, чтобы забрать прах японских военнопленных на родину и воздать им должные почести. Фактическая сторона дела заключалась в кропотливой работе по поиску кладбищ, эксгумации и транспортировке на родину [см. Кузьмина].

Отношение к плену. В Японии «Сибирское пленение» Квантунской армии было осознано как трагическая история эпохи Второй мировой войны уже в 1950-е гг., после возвращения первых репатриантов, и, хотя она не была в центре общественного внимания, но и не оказалась забытой. Почти 600 000 мужчин вернулись из СССР, каждый — со своей историей выживания. Бывшие пленники, обогащенные опытом выживания, не могли раствориться без следа в японском обществе. Даже такая выборка, как список премьер-министров правительства Японии, отразила присутствие пленных из Квантунской армии в истории страны. Среди 24-х (к 2004 г.) премьер-министров японского правительства оказался и бывший военнопленный Сосукэ Уно [Липский: сайт].

Отношение к бывшим военнопленным в Японии было непростым. Им не оказывалось такого уважения, с каким относятся к военнопленным, например, в США. Но их и не преследовали, как советских военнопленных, переживших нацистский плен, которые до конца жизни оставались изгоями. В целом в японском обществе, в котором были сильны представления традиционной военной этики, не было особенного сочувствия к их судьбе. Многим репатриированным отказывали в приеме на работу из-за их долгого пребывания в СССР [Igarashi 2005: 119]. Как вспоминал Хидэюки Айдзава, «я шел по чужой земле с грязным ярлыком “военнопленный”, не зная, куда приведет меня этот путь» [Чернова: сайт].

В японской военной традиции плен считался позором. Японская армия не нуждалась в заградительных отрядах, чувство долга в японской армии играло роль заградотрядов в РККА. О предпочтении гибели плену говорит «соотношение попавших в плен (как правило, в бессознательном состоянии) и погибших в кампании в Северной Бирме в 1942 г.: 1 к 120. Такое отношение стало меняться к концу войны, когда независимо от ее исхода некоторые солдаты стали считать для себя возможным возвращение домой» [Бенедикт: 31–32]. Высокая исполнительность, верность воинскому долгу, преданность императору не давали японскому военному служащему выбора между смертью на поле боя и пленом. Он предпочитал смерть позору пленения и, если смерть была неизбежна, то не просто ожидал ее, а старался уничтожить как можно больше врагов, после чего совершал самоубийство [Карасев 2007: 27].

Так как военнослужащие Квантунской армии попали в плен не в результате проигранных сражений и личных решений, в Японии их называют не пленными (хорё), а интернированными (ёкурюся). Это был совершенно новый для японской маскулинности, для японской этики опыт — опыт массового пленения и выживания в тяжелых условиях подневольного труда. Японская история не знала позитивных примеров пленения, которые могли бы стать образцами мужества и достоинства, нравственными ориентирами и служить моральной поддержкой. Пленным самим надо было находить ресурсы для физического выживания и достойного поведения.

Все пленники мечтали о возвращении домой, но в то же время, как автор изданных в России мемуаров Юкио Ёсида, волновались: как они будут приняты на родине?

Однажды в бараке, когда речь зашла о возвращении на родину, один пленный сказал: «Когда приеду в Японию, первым делом отправлюсь на горячий источник, попарюсь там до вечера, а ночью войду в дом с черного хода». «Мы ведь не по собственной воле оказались в плену, а подчинились императорскому манифесту о капитуляции. Я войду в дом среди бела дня с высоко поднятой головой!» — возразил другой. «Хватит ерунду молоть! Кто, интересно, силком затащил нас на войну, а потом до плена довел? Во всем виноваты император и буржуазия! А вы рядите, с какого хода войти в собственный дом. Вернувшись на родину, мы, сплотившись, должны требовать риса и работы, выступать против правительства Японии». Я понимал настроение каждого пленного, ведь они были моими товарищами по несчастью, которое оставило след в душе всех, кто пережил его. Сам я, если судьбе будет угодно вернуть меня на родину, не собирался проникать в дом под покровом ночи, но тоскливо предчувствовал, что в первый момент встречи с отцом, женой и детьми не посмею смотреть им в глаза [Такасуги. Ч. 2: 99–100].¹

1 Здесь и далее шрифтом Times Roman 11 с отступом представлены комментарии и тексты о японских военнопленных. Курсивом в этих текстах отмечены фразы, помещенные в поле картины или рисунка. Выделение шрифтом — Э.-Б. Г.

История плена как Травма. Как правило, в формировании национальных историй находится место только для одной наиболее значимой травмы. Другие испытания в судьбе народа не должны ни затмевать хотя бы иногда, ни конкурировать с главной Травмой. Такой трагедией для японской истории XX в. стала гибель более чем 210 тыс. мирных жителей Хиросимы и Нагасаки вследствие атомной бомбардировки США. Именно эта трагедия для японского народа стала Травмой № 1. Прежде всего потому, что облучение в результате взрыва бомбы имело и имеет влияние на потомство, рождаются дети с генетическими отклонениями. Кроме того ужасает понимание того, что народ стал жертвой испытаний новых и катастрофических военных технологий. Ни ковровая бомбардировка Токио 10 марта 1945 г., когда за 2 часа 334 тяжелых бомбардировщика сбросили на город столько зажигательных бомб и напалма, что в результате огненного смерча погибло более 100 тыс. человек, ни утрата Южного Сахалина и северных территорий в осмыслении национальной истории такой роли не сыграли. В комплексе вопросов, оставшихся в наследство последующим поколениям, сибирский плен оказался менее масштабной проблемой.

Но даже там, где общественное осмысление травматического события по политическим соображениям отвергается, как писал немецкий историк проф. Ф. Книгге, воспоминание о несправедливости и страданиях все же не является несуществующим. Оно продолжает жить, по меньшей мере, в сознании участников событий, в первую очередь жертв преследований, скрытое или инкапсулированное и в то же время выраженное в самых различных телесных и душевных симптомах травматического поражения, тяготящее страхом или стыдом и все же в кругу близких сдержанно и осторожно превращаемое в предмет разговора, воплощающееся в картинах, осмысливаемое в рассказах на основе воспоминаний или даже трансформируемое в литературу [сайт «Уроки истории»].

Стремление выжить в лагере для тех, кто смог это сделать, часто было обусловлено решимостью донести свидетельство. Как известно, «одна из побудительных причин выжить в концлагере — возможность стать свидетелем» [Агамбен 2004: 177].

Пережившие сибирский плен военнопленные согласно классификации свидетелей относятся к моральным свидетелям, которые сочетают в себе и роль жертвы, и роль очевидца — они, будучи жертвой, выжили. Благодаря их близости к гибели и погибшим их свидетельство не только обвиняет, но и оплакивает, поэтому оно включает в себя и молчание, то есть невозможность найти подходящие слова [Weigel, Zeugnis und Zeugenschaft — цит. по: Ассман: 93]. Второе качество морального свидетеля: он свидетельствует о злодеянии как таковом, изведенном на личном опыте. Его послание содержит негативное откровение, которое не может стать смыслообразующим и не может стать историей, на которой основываются общества. Наконец, моральный свидетель нуждается в сообществе непричастных третьих лиц, которые признают в нем жертву [Ассман: 93–96].

В академической среде Японии интерес к проблеме интернирования Квантунской армии заметно активизировался в последние годы.

Музеи. Память о сибирском плене сегодня поддерживается в Японии в экспозициях двух музеев, один из которых находится в портовом городке Майдзуру, второй в Токио.

Бухта Майдзуру, один из основных портов, куда привозили из Находки освобожденных военнопленных и где находились фильтрационные пункты, стала извест-

ной также и благодаря популярной песне «Мать на пристани» (1954), посвященной материнской тоске по сыну, находящемуся в Сибири:

Опять вернулся корабль с репатриантами, а моего сына все нет...
Разве ты не видишь меня, свою мать, ожидающую тебя на этой пристани...
Порт называется «Летающий журавль», почему бы тебе не прилететь как журка...²

В 1970 г. на холме, с которого открывается непередаваемой красоты вид на залив, был разбит мемориальный парк, в 1988 г. здесь был открыт Музей репатриации (Maizuru Repatriation Memorial Museum) муниципального подчинения. Сейчас музей является единственным специализированным публичным местом коммеморации истории сибирского пленения солдат Квантунской армии. В пяти залах хранятся подлинные реликвии тех лет, например нехитрая солдатская утварь: ложки, ножи, палочки — хаши, алюминиевые миски и солдатские котелки, зажигалки, табакерки и кисеты. Впечатляет лагерная одежда: старые солдатские ботинки, латаные ватники и стеганые штаны, шапки и варежки в заплатках. Ценными экспонатами музея представляются подлинные лагерные документы — письма из лагеря домой, крохотные записные книжки, справки о заработанной сумме и документы лагерной администрации.

С помощью сбора, хранения и экспозиции исторических документов музей формирует память об интернировании Квантунской армии. В нем собраны библиотека по теме интернирования, фотоархив и пресса тех лет, в которой запечатлены моменты встречи репатриантов в разные годы. В экспозиции музея созданы многофигурные композиции в натуральную величину. Представлена модель лагеря в масштабе. Музей располагает уникальной коллекцией картин, посвященных интернированию, нарисованных бывшими пленниками. Один из залов специально отведен материалам, предназначенным для детей.

В октябре 2015 г. документальный архив музея был включен в реестр памяти ЮНЕСКО. Признание со стороны международного сообщества страданий японских солдат в годы Второй мировой войны привносит более сложное понимание той эпохи. Действия армии милитаристской Японии в рамках Второй мировой войны обычно рассматривались как агрессивные, отношение к судьбам простых военнопленных как к жертвам — разворот к более глубокому видению истории XX в.

Второй музей — небольшой частный музей Heiwa Kinen Tenji Shiryo-kan (За мир и утешение), расположенный в Токио, в престижном районе Синдзюку на 48-м этаже 52-этажного небоскреба Сумитомо. Сибирскому интернированию отведено небольшое пространство, в котором представлены карта лагерей ГУПВИ и маршруты транспортировки солдат Квантунской армии в СССР, модель лагеря № 217, одежда и обувь военнопленных и др. Современного человека впечатляют реликвии той эпохи — солдатские амулеты, носки, сшитые вручную Томодзи Нагасаки (преф. Миэ) из лоскутов и брезента нитками, выдернутыми из ткани, с помощью самодельной иглы; нож, ложка и вилка в специальной сумочке для хранения, изготовленные из дерева Эйдзи Каиэда из Кагошима; шуба с короткими рукавами Кинэцу Мурата (преф. Кочи), так как основная часть рукавов была обменена на хлеб; письмо из ла-

2 Авторы слов Масато Фудзита и Муромати Кёносукэ.

геря с сообщением, как умер ослабленный от голода Хуми Конэко (преф. Ниигата), номера газеты «Нихон синбун» и др.

Нельзя не упомянуть и общественные организации, которые объединяют бывших военнопленных. Это Японская ассоциация бывших военнопленных, основанная в 1980 г. (президент Х. Айдзава). Японская ассоциация компенсации интернированных, основанная в 1979 г., прекратила свою деятельность в 2011 г. Работают и другие общественные организации, направленные на культурные связи с Россией или странами СНГ и возглавляемые бывшими военнопленными, а также их региональные общества. Например, в Саппоро действует Общество сибирских пленников Хоккайдо, его члены организуют встречи с бывшими военнопленными, иницируют установку памятников в префектуре, поддерживают свой блог [<http://siveriasapporo.blog.fc2.com/>].

Память японских военнопленных о лагерях имела свою специфику, которая заключается не только в большом количестве изданных нарративов, не только в японских формах выражения (аниме, хайку, эникки и др.), но и в особой — доброй и часто самоироничной — тональности воспоминаний о тяжелом опыте заключения, а также в обескураживающей искренности сюжетов и деталей.

Более двух тысяч бывших военнопленных Квантунской армии решились написать свои лагерные мемуары [Томида: 594]. Этот феномен массовых солдатских воспоминаний о жизни в лагерях страны-победительницы практически уникален в мировой мемуаристике. Из работ М. Фуко известно, что «нельзя говорить о чем угодно в какой угодно период времени»: распределение власти на поле символического производства не допускает этого самыми различными способами, и возможные «авторы речи» всегда несут в себе знание о том, что и кому позволено сказать [Гапова: сайт].

Среди бывших солдат вермахта и их союзников были те, кто написал свои воспоминания о годах, проведенных в плену в СССР [Birkemeer W 2002, Беккер Ханс, Виганд Вюстер и др.], но все же счет идет на десятки, а не тысячи.

В немецком плену во время Второй мировой войны находилось более пяти миллионов советских солдат, из которых три миллиона семьсот тысяч погибли в плену, что составило 64 % всех военнопленных [Полян 2002: 12]. Похоже, что никто из двух миллионов выживших не оставил и тем более не издал за свой счет воспоминания об этом опыте. Во всяком случае, такие воспоминания не получили широкой известности.

Многие бывшие японские военнопленные решились поделиться с обществом своим опытом выживания в лагерях. Не сразу, но чем дальше отходили во времени годы пленения, тем больше появлялось мемуаров. Перестройка в СССР дала надежду на «перезагрузку» отношений между Японией и СССР. Актуализировалась тема сибирского плена, и можно было предполагать, что при соответствующих политических решениях российское правительство выплатит компенсации за годы принудительного труда.

К тому же бывшие пленники в это время вышли на пенсию и получили, может быть впервые в жизни, свободное время. Сформировалось *сообщество утраты* (С. Ушакин), в котором бывшие военнопленные, хорошо понимавшие друг друга, ходили на выставки, читали воспоминания, поддерживали друг друга морально и финансово.

Это было важно, потому что исторические травмы, обусловленные не военными действиями, а актами эксплуатации людей, антигуманного обращения с ними и уничтожения, не исцеляются забвением [Ассман: 81]. Кто-то из них съездил в Сибирь, кто-то написал воспоминания, а кто-то рисовал лагерь, сопровождая рисунки комментариями, что стало своего рода арт-терапией, интуитивно найденным способом работы с травматическим опытом.

В этом сообществе утраты появилась живая память — та, что внутри достаточно интимного контекста актуализирует прошлое в разговоре, и благодаря *memory talk* (Вельцер) прошлое конструируется как результат коллективной работы [Ассман: 25]. Пока есть неформальная диалоговая коммуникация, существует и совместное воспоминание.

Таким образом, когда к середине 1980-х гг. тема сибирского плена, до того развивавшаяся на периферии общественного внимания, заняла свою нишу в публичном дискурсе Японии, сработало сразу несколько внутренних и внешних факторов.

Почти все российские авторы, писавшие о послевоенных отношениях между Японией и СССР, отмечали, что вернувшиеся из советских лагерей военнопленные были тронуты добрым отношением к ним простых людей. К тому же военнопленные, «воспитанные в рамках жестко регламентированного японского общества, испытывавшие в императорской армии муштру и издевательства, впервые в жизни обрели чувство человеческого достоинства, стали дышать свободно» [Комаровский: 123]. Именно бывшие военнопленные долгое время составляли основу различных обществ дружбы с СССР и Россией. Во всех своих выступлениях они подчеркивали, что всегда различали официальную политику советского государства, удерживавшего их в лагерях, и отношение обыкновенных русских (советских) людей [Кузнецов 2003: 289].³

Для воспоминаний японцев о жизни в лагерях СССР характерны, в первую очередь, *изрядная доля ностальгии, а иногда и умиление* [Кузнецов 2003: 288], с которыми авторы вспоминают чужую страну и годы лагерей. «Я всегда ношу российские часы, это уже третьи», — с гордостью показывал мне запястье Ивао Нисимура. Интерес археолога Кюзо Като к Сибири привел его к длительной полевой работе в России и СНГ, свою книгу он так и назвал — «Сибирь в сердце японца».

Своим отношением к СССР бывшие интернированные делились с родными и соседями, постепенно создавая коллективный нарратив о Сибири. Однако многие, чаще репатрианты 1947 г., сохранили негативные воспоминания, предпочитая молчать

3 Похожие чувства испытывали бывшие военнопленные из Германии и Польши. Так З. Хакенберг пишет: «Самое тяжелое, самое жестокое время своей долгой жизни я пережил в России за четыре года военного плена. Тем не менее, меня снова и снова охватывает страстное желание приехать сюда. Эта таинственная, бескрайняя, неизмеримо богатая страна белых, прекрасных берез и темных хвойных лесов, а также полных любви, но бедных людей всегда притягивает меня. Для меня непонятна и необъяснима симпатия немцев и русских друг к другу, но это делает меня счастливым». Ю. Чапский отмечал: «Моя книга “На бесчеловечной земле”, заглавие которой русские могут воспринять как жестокое, свидетельствует прежде всего о моей привязанности к России. Я понимаю, что этот взгляд сегодня чужд большинству поляков. Но я слишком хорошо знал русских высочайших моральных качеств, слишком много сердечных чувств дали мне русские». Цит. по: А. Кузьминых: Россия и лагерный мир...

о лагере, и решительно отвергали все, что было связано с СССР. Это послужило основой для широких антисоветских настроений в послевоенной Японии [Igarashi: 105].

Кое-кто из военнопленных, оказавшись в неожиданных социальных условиях, расставался с традиционной схемой поведения и выбирал путь индивидуализма. Это позже помогло некоторым пленным по возвращении сделать предпринимательскую карьеру — как, например, Сиро Исикава, глава экспортной компании «Искра», который признавался, что сибирские лагеря стали для него настоящим университетом жизни, закалившим характер и научившим выживать в любых условиях [Кузнецов 2003: 289]. Эйкити Нисикава, основатель строительной фирмы «Санъэй сёдзи кабусики кайся», подчеркивал, что «всем, чего я достиг в жизни, как и самой жизнью, я обязан майору-сану», начальнику лагеря Василию Чеботареву [сайт «ЗАО Санъэй-Москва»]. Возможно, это также и способ самотерапии, при котором негативные воспоминания и чувства вытесняются и заменяются преувеличенно позитивными, как бы снимая травмы прошлого.

Син Миязаки назвал свой альбом «Другая память о Сибири». Она отличается от стереотипной, что в обобщенном виде резюмируется в сухих интервью политиков. Другая память — личная, но при этом многоликая, пестрая образами, не имеющая однозначных оценок. Такая память — это сложный дискурс о травматических событиях, в котором нет места культурным или политическим клише, а имеется много трагических историй, противоречивых событий, в которых нередко встречается сочувствие и даже благодарность народу, чье государство насильно удерживало и эксплуатировало их столько лет.

Возможно, воспоминание о длительном событии, которое начиналось как травматическое и таковым осталось в исторических хрониках, в памяти конкретного человека нередко состоит из сложных эмоций, среди которых благодарность и доброта часто пересиливают гнев и возмущение. Негативное отношение к противоправному акту приходит в противоречие с оценкой жизни человека, которая часто не вписывается в черное-белые краски, чего как бы ожидает общество, поэтому человек говорит «другая Сибирь», не стереотипизированная.

В Японии мемуары о сибирском плене не прозвучали так громко, как, например, «Архипелаг ГУЛag» А. Солженицына в СССР, не стали национальными бестселлерами. Тем не менее голоса бывших военнопленных даже в насыщенном свидетельствами о сибирском плене публичном пространстве не забывают один другой, а наоборот создают богатый полифонический текст убедительной силы.

Зачастую непроговариваемые, но актуальные в общественном дискурсе сюжеты проявляются в искусстве. Можно сказать, что искусство обращением к проблемам сибирского плена японцев на десятилетия опередило академические исследования. Из нескольких десятков японских художников, рисовавших плен, типичной стала история Сидзуо Ямасита, альбом рисунков которого, сделанных по памяти спустя 25 лет после репатриации шариковой ручкой и карандашом во время ежедневных поездок на работу, отразил четыре года в Тайшетском лагере. Цель их публикации, по словам издателя Тосия Омура, «успокоение душ покойных» [Кузнецов: сайт]. Этот мотив, довольно необычный для России, часто упоминается в воспоминаниях японских авторов.

Значимое событие в истории народа должно было отразиться и в творчестве влиятельного в обществе прозаика. Им стал Харуки Мураками.

Обычно мы воспринимаем мемуары как записки людей о событиях прошлого, которые они наблюдали или в которых участвовали, пытающихся реконструировать их в письменном тексте. В случае с Харуки Мураками мы имеем дело с литературным произведением, в котором звучат голоса прошлого. Двое из героев романа «Хроники заводной птицы» (1995), Хонда-сан и Токутаро Мамия, принимали участие в военных действиях на Халхин-голе (в японской историографии «Номонханский инцидент»), лейтенант Мамия оказался в сибирском плену. Адекватно современной социальной ситуации бывшие пленники — не главные герои романа, а второстепенные персонажи. Один чудаковатый, докучает окружающим своими рассказами, другой молчалив. Хонда-сану все время хочется говорить о прошлом, но у него нет аудитории, несмотря на то, что для современных молодых людей

эти истории были интересными и захватывающими. Мы и представить себе такого не могли. Большинство его историй пахло кровью, но в устах доживавшего свой век старика в нестираной одежде подробности боев утрачивали реальность и звучали волшебными сказками [Мураками: 71].

Кому адресованы свидетельства бывших пленников? На какие потребности адресата они отвечают? Внутренняя потребность рассказать о себе, чем бы она ни была вызвана, требует переопределения себя как по отношению к рассказываемым событиям, так и к моменту, из которого ведется повествование<...> Таким образом, автобиографический текст, даже если формально является документом частной жизни, тем не менее включен в действующее «политическое» момента своего написания — политическое не в смысле отношения непосредственно к политике, а в смысле включенности в более сложные и повсеместные отношения власти, присутствующие во всем, что социально [Гапова: сайт].

Особенно важно, на мой взгляд, что воспоминания бывших пленников не вошли в большой нарратив, не стали ключевым сюжетом национальной истории. Благодаря этому они, оставаясь на уровне групповой и индивидуальной памяти, свободны в своих формах, богаты в своем многоголосье и несводимы к простым формулам.

Возможно, здесь мы имеем дело с символическим капиталом, который более связан с «кредитом известности», зависящим от чувства чести и способности обеспечить неуязвимость своей чести [Бурдые: 235]. Бывшие пленники хотели показать, как трудно было в плену выживать достойно, чтобы возможный моральный упрек, связанный со старыми представлениями о плене как уделе слабых, мог перейти в знаки уважения по поводу плена как возможности выйти из невероятно трудной ситуации, сохранив лицо. К тому же среди традиционных японских исторических и литературных героев есть и редкий в других культурах положительный типаж, который «навечно обручен с проигрывающей стороной и неизбежно будет низвергнут. Бросая себя туда, куда ведет его мученическая судьба, он открыто противится диктату условностей и здравого смысла, пока его не победит противник» [Айван: 3].

XX век и мировые войны показали новые масштабы бесчеловечности, неизвестный для японского общества лагерный опыт в СССР был рассказан коллективным автором воспоминаний. Обычно люди формулируют свои воспоминания, выдвигая на передний план события, повышающие собственную значимость, и вытесняя то, что может повредить положительной самооценке. Однако японские пленные пожелали рассказать о своих страданиях, не героизируя перенесенный опыт, но

изображая травмирующий лагерный опыт как повседневные практики и не стесняясь проговаривать физиологические детали, которые впиваются в память читателя намертво.

Японские ветераны плена были свободны в том, рассказывать или нет о своем лагерном опыте и если рассказывать, то в каких терминах. Ведь до недавнего времени лагерь снился бывшим военнопленным, и как в 1995 г. признавался Оцука Шигеру, во сне я до сих пор мечтаю быстрее вернуться домой и боюсь, что не смогу [Igarashi 2005: 105].

Мемуары о лагерном опыте представляли собой чаще всего бесхитростные описания проведенных за колючей проволокой лет, но нередко воспоминания были образными: рисунками или живописными работами, и авторов таких произведений несколько десятков. Было организовано несколько выставок в Японии и России. Это важно, потому что там, где встречаются люди, не уклоняющиеся от этих воспоминаний, а напротив, готовые подвергнуться их воздействию <...> и бороться за их публичное осмысление, начинается превращение воспоминаний, до сих пор связанных исключительно с индивидуальным опытом, в культурную, надиндивидуальную память [Книжке: сайт «Уроки истории»].

Архипелаг ГУПВИ. История пребывания японских военнопленных в СССР является частью истории карательной системы, которая сложилась в стране к 1945 г. Она является продолжением репрессивной политики СССР, в 1920–1930-е гг. проводимой через ГУЛАГ, который «подмял под себя» все слои советского общества [Кутузов: 86–90].⁴ К этому времени советская власть с все большей гулагизацией социального и природного пространства [Подорога 2013: 44] оказалась немислима без лагерей принудительного труда. Она их создает начиная с 1918 г. и реорганизует на протяжении 35 лет, давая разные названия. Вначале власть откровенно называет их концентрационными или лагерями принудительных работ, но в 1930 г. концлагеря были переименованы в «исправительно-трудовые» («истребительно-трудовые», как говорили в ГУЛАГе) без каких-либо изменений режима и условий содержания [Росси: 167, 181].

Архипелаг ГУПВИ начинался с приказа наркома Л. Берия от 19.09.1939 г. о создании УПВ НКВД, контроль за его работой был возложен на В.В. Чернышова, который был в то время начальником ГУЛага [Военнопленные: 25–26]. Инфраструктура, кадры, режим, внутренний распорядок были практически идентичными стандартам ГУЛАГа [Кузьминых 179].

Лагеря ГУПВИ были похожи на сотни других концентрационных лагерей по всему миру, которые, очевидно, в XX в. стали самым распространенным типом временного поселения. Как и лагеря ГУЛАГа, лагеря ГУПВИ были разбросаны по всей стране, от Тирасполя на западе [Вилков: 166] до Сахалина, но скученнее располагались в регионах Восточной и Западной Сибири, где не хватало трудовых ресурсов на местах, были крайне неблагоприятные природные условия и стояли задачи освоения огромных пространств. В конце 1945 г. система ГУПВИ включала 267 лагерей с 3200 лагерными отделениями, 392 рабочих батальона и 178 специ-

4 А.Солженицын писал: ГУЛаг. Я следую более поздней традиции написания — ГУЛАГ, которая имеет в виду не только конкретное ведомство, но и ту символическую роль, которую оно сыграло в истории СССР.

альных госпиталей, расположенных во всех союзных республиках [Жангуттин: 107]. Немало японских пленных оказалось на Колыме в ГУЛАГе, их встречали на своем лагерном веку В. Шаламов [Шаламов: 430], Е. Гинзбург, Н. Гаген-Торн, А. Жигулин.

В целом по картотекам ГУПВИ числилось свыше 4 млн. военнопленных из более чем 30 стран [Карнер: 9]. Японцы среди них составляли вторую после немцев (55%) по численности (16%) группу [Карнер: 81].

Первая волна репатриации японских военнопленных пришлась на 1947 г. и была связана «не столько с гуманностью советской системы, сколько с трезвым расчетом: система не хотела нести расходы по содержанию нетрудоспособных больных людей» [Жангуттин: 112]. В течение апреля–ноября 1947 г. в Японию было отправлено 166 240 человек. Это были транспортабельные больные, а также военнопленные, отнесенные к третьей категории трудоспособности и содержавшиеся в оздоровительных командах (ОК), и военнопленные, размещенные в неблагополучных лагерных отделениях. Тогда же МГБ СССР освободило и 12 500 японских офицеров, в звании не выше капитана, не занятых на работе, и гражданских чиновников [Военнопленные в СССР: 56]. Неблагополучные лагерные отделения — это, видимо, те, в которых регулярно не выполнялся производственный план, значит и организационная, и политическая работа в них с точки зрения властей не могла считаться благополучной, а также была высокая смертность.

К концу 1948 г. в Японию было репатрировано 510 409 человек [Карнер: 224]. Перед репатриацией военнопленным выплачивали причитающиеся им деньги — сумма скорее была произвольная и зависела от того, сколько средств на эти цели находилось в данный момент в кассе лагерного управления. Однако их нельзя было перевозить через границу и следовало потратить за день до отправки эшелона или по пути на родину [Карнер: 227]. Еще 18 октября 1956 г. замминистра МВД СССР С.Н. Переверткин отчитывался, что в настоящее время на территории СССР находятся 1030 осужденных японских военных преступников, содержащихся в местах заключения, и 713 граждан японской национальности [Военнопленные: 337]. Последняя партия была репатрирована в самом конце 1956 г.

Часть японских пленных была осуждена за военные преступления, за правонарушения в лагере и оказалась в лагерях с более строгим режимом. Среди всех военнопленных, кто последовал из ГУПВИ в ГУЛАГ, 8 % были японцы, что составило 3008 чел. [Карнер: 202]. Но, по сведениям историка репрессий В.Н. Земскова, цифры другие: на 1 января 1946 г. в лагерях ГУЛАГа было зафиксировано 578 граждан Японии, на 1 января 1947 г. — 660, на 1 января 1951 г. — 652 [Земсков 1991А: 10–27; Земсков 1991В: 3–16]. Осужденными из числа японцев за военные преступления в основном были лица, имевшие отношение к химическому и бактериологическому оружию, которое планировалось применить в войне с СССР [Катасонова: 122–129], бывшие полицейские и военные переводчики русского языка, которых преследовали как возможных разведчиков, а также осужденные за правонарушения в лагерях ГУПВИ.

Архипелаг ГУЛАГ и архипелаг ГУПВИ — близкие структуры, но в содержании советских зэков и иностранных военнопленных были отличия. Заключение в ГУЛАГа не имели того минимума еды и медицинского обслуживания, какой получали военнопленные [Карнер 2002: 78]. Представляется, что ГУЛАГ отличался более

тяжелым режимом и, особенно, террором уголовников. Криминальная часть заключенных, или, как они себя называли, воров, как правило, имела поддержку лагерного руководства и «делала погоду» в бараках. Ситуация с лагерным живодером Борисом Громовым, описанная Х. Мураками, характеризует ГУЛАГ, куда также попадали японские военнопленные. В этом отношении в лагерях ГУПВИ было немного легче, чем в ГУЛАГе, в них не было преступных группировок.

В лагерях ГУПВИ не было криминального разгула, а в лагерях ГУЛАГа не было активного «демократического» движения и существенно условнее были производственные соревнования за право на переходящее красное знамя. Но все системообразующие принципы лагеря — режим и структура — были идентичными, заимствованными ГУПВИ у ГУЛАГа, который создавал канон социалистической лагерной жизни для миллионов людей. По отчетам военных чиновников, в лагерях СССР погибло «61 855 японцев, в том числе 31 генерал и 607 офицеров» [Военнопленные: 338], примерно 10%.

Через ГУЛАГ прошло 15 млн. по мнению А. Солженицына, 10 млн. по утверждению Н. Хрущева и 8 млн. по итоговым результатам российского историка В. Земскова [pereplet.ru...]. Например, золотые заботы, донный круг в этой иерархии ада, потребляли, пишет В. Шаламов, 90% рабочей силы, человечность девяноста процентов лагерников подверглась испытаниям, которых она не выдержала, и все гуманистические представления о ней после XX века требуют пересмотра [Нич: 48–49]. Статистика ГУЛАГа затрудняется документами разного подчинения и спецификой ведомственного языка. Тем не менее, трудно не согласиться с В. Подорога: «ГУЛАГ вполне сопоставим по тяжести преступлений с Освенцимом» [Подорога 2013: 21].

Начатый В. Шаламовым и А. Солженицыным процесс разоблачения ГУЛАГа был продолжен и другими бывшими узниками, поставившими себе задачу поведать миру о масштабе и степени жестокости репрессий в сталинскую эпоху. Свидетельские показания о ГУЛАГе говорили слишком жестокие вещи и о природе человеческой натуры, и о природе того общества, за которое еще недавно советский народ отдал миллионы жизней.

Но, несмотря на убедительность этих публикаций, они, тем не менее, не стали для российского общества решающим фактором разоблачения карательной лагерной системы. Память о ГУЛАГе и ГУПВИ как его части не является живой составляющей официального дискурса в России. Масштабы ГУЛАГа еще не осознаны российским обществом в должной мере. Возможно, именно потому, что ГУЛАГ еще не стал достоянием прошлого, он еще жив: прежде всего, страхом перед безнаказанностью государства, неверием в исполнение законов, незнанием в широких слоях той советской истории, что была и во многом осталась «за колючей проволокой» закрытых архивов.

2. Цели, источники и научные подходы исследования

Объектом моего анализа является изобразительный мета-текст, который будет дополнен материалами опубликованных воспоминаний и устных интервью, собранных мною в Токио и Саппоро в 2006, 2011 и 2015 гг. Визуальный мета-текст, созданный бывшими пленными на свободе, а также комментарии к нему можно рассматривать как историческое свидетельство, поскольку в нем обозначились все

символы лагеря, миропорядок и значимые отношения в нем.

Литература по проблеме. Собственно лагерю посвящены в основном исторические работы. Монументальный труд А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАг» (опыт историко-художественного исследования) был сопоставлен В. Козловым с первыми мореходными картами: при всей неточности тех или иных конкретных сведений А. Солженицын превратил историю ГУЛАГа из terra incognita в реальное, интеллектуально постигаемое пространство, в факт мировой истории [Козлов: 97], а также в один из печально знаменитых символов сталинизма. Можно сказать, что в наши дни «Архипелаг ГУЛАг» вполне вписывается в рамки современной исторической антропологии лагеря, как и работы Примо Леви, Виктора Франкла, Жака Росси, Бруно Беттельхейма. Появилась монография Жака Регуло и Филипа Котека «Век лагерей», где авторы показывают, как были организованы концентрационные лагеря в разных странах при разных политических режимах, которые, однако, сохраняли свое карательное и производственное назначение [Регуло, Котек].

Бесценным источником понимания лагерной жизни, свидетелей которой сегодня не осталось, стали «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург (1968), «Путешествие в страну зэ-ка» Ю. Марголина (1952, Нью-Йорк), «Плен в своем отечестве» Л. Разгона (1994), «Дубарь» Г. Демидова (1990), «Погружение во тьму» О. Волкова (1987). О недооцененности визуальных материалов, повествующих о ГУЛАГе, красноречиво говорят постлагерные рисунки Е. Керсновской «Сколько стоит человек» [Керсновская]. Большую работу в акцентировке визуальности лагерного документа проводит московский центр «Мемориал», собравший коллекцию лагерных рисунков, регулярно показывая их, например, на выставках «Папины письма» (общество «Мемориал», Москва, 2013 г.), «Право переписки» (общество «Мемориал», Москва, 2015 г.), «ГУЛАГ. Следы и свидетельства. 1929–1956» (общество «Мемориал» совместно с Фондом мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбаум-Дора, Берлин, 2013 г.).

Научная литература, посвященная пребыванию японских военнопленных в СССР, насчитывает примерно два десятка монографий и десятки сборников статей на русском и английском языках. Я не рассматриваю историографию на японском языке, но отмечу обзорную статью Такэси Томита «Архивные документы о японских военнопленных в Советском Союзе, 1945–1956 гг.», в которой автор анализирует такие ценные источники как: доклады японского репатриационного ведомства, японскую прессу из собрания Гордона Пранджа, протоколы японского парламента, которые не подвергались цензуре штаб-квартиры оккупационных войск в Японии, а также специальные выпуски докладов штаб-квартиры, посвященные «репатриации японцев из советских зон» [Томита: 592–609].

В российской исторической науке набирает силу направление, изучающее историю пленных японцев в СССР. Оно представлено, с одной стороны, исследованиями о пребывании японских пленников в том или ином регионе Сибири, например, о японских военнопленных в Красноярском крае [Спиридонов М.Н.], Хабаровском крае [Кузьмина М.], Бурятии [Балзанов О.Д.], и их трудовом вкладе в локальную экономику конца 1940-х — начала 1950-х гг., об отношениях с местным населением. С другой стороны, появились и обобщающие труды, посвященные историческим и правовым аспектам сибирского плена [Кузнецов С.И., Карасев М.Н., Катасонова Е. и др.].

В научный оборот рисунки бывших японских военнопленных впервые были введены Ю. Михайловой [Mikhailova 2010], вслед за которой С. Кузнецов [Кузнецов 2003] использовал рисунки и аниме как иллюстративный материал.

Особо следует отметить дипломную работу Р. Далера, уникальную тем, что автор, работавший в Японии и впечатленный рисунками бывших военнопленных, выйдя на пенсию, поступил на философский факультет Университета Цюриха, чтобы выполнить дипломную работу (MD) «Die japanischen Kriegsgefangenen in Sibirien. 1945–1956. Verarbeitung der Lagererlebnisse in Wort und Bild». Автор в 2001 г. ставил проблему — как отражаются страдания в лагере в слове и в рисунке? Проведенная им работа, хотя и во многом описательная, стала первой попыткой исследования травматического опыта в вербальном и визуальном тексте.

Важным исследованием стала монография Эндрю И. Бэрша «Первыми покидают боги. Плен и репатриация японских военнопленных в северо-восточной Азии. 1945–1956». Автор разделил бывших пленных на три группы: ранних репатриантов (до первой половины 1948 г.), имевших самый горький, но менее «идеологизированный» опыт, поздних репатриантов (конец 1948–1950 г.), которые застали времена активной индоктринации и увидели сами, как улучшается жизнь в лагере и в СССР, и на так называемых военных преступников, к которым относились лица, действительно принимавшие участие в разработке химического и бактериологического оружия против СССР, а также и хорошо говорящие по-русски японцы и гражданские полицейские как возможные шпионы. Третья группа более всего находилась в СССР и чаще — в системе ГУЛАГа. Э. Бэршай выбрал представителем ранних репатриантов художника Ясуо Казуки с 54 холстами маслом, составившими «сибирскую серию» вместе с его более поздними мемуарами. Вторая группа показана воспоминаниями журналиста Итиро Такасуги «В тени северных огней», в которых отношение к участию в «демократическом» движении осмысливается как политический и моральный выбор перед лицом смерти. Третью группу представил Ёсиро Исихара, чья сложная образная поэзия напоминает творчество другого лагерного поэта — Пауля Целана.

Более сложное мнение об этом у Виктора Карпова, который в своем исследовании «Пленники Сталина» рассматривает разные формы сотрудничества и сопротивления пленных, справедливо утверждая: под «демократическими взглядами» в СССР подразумевались просоветские взгляды. Он видит разные настроения среди военнопленных во всех потоках репатриированных, в том числе и «ложных демократов». Так, осенью 1949 г. настала очередь тех, «которые изымались органами МВД и МГБ как реакционно настроенные» [Карпов: 204], и они вели себя демонстративно отстраняясь от стиля «демократического актива».

Теоретические ориентиры исследования. Лагеря ГУЛАГа и ГУПВИ относятся к тотальным институтам, которые по определению классика социологии повседневности Эрвина Гоффмана представляли собой «места проживания и работы, где значительное число находящихся в одинаковой ситуации людей, отрезанных от более широкой общности на ощутимый период времени, сообща следуют закрытому, формально администрируемому циклу жизни» [Goffman 1978: 10]. Согласно его типологии по социальному предназначению лагерь для военнопленных наряду с тюрьмами и исправительными учреждениями относится к третьему типу тотальных институтов, цель которых — защита общества от преднамеренной опасности

со стороны определенных лиц, в отношении которых применяются санкции как к девиантам и не ставятся задачи обеспечения их блага.

Попадающий в тотальное учреждение сталкивается с процессом деградации, цель которого унижить человека и сломать в нем личность, превратив в покорное биосущество. Для этого снимают отпечатки пальцев, фотографируют, бреют головы, запрещают пользоваться «личным набором» (особая прическа, любимая одежда, украшения). Новичков раздевают и подвергают унижительному осмотру, после чего им выдают униформу для обозначения нового статуса.

Одновременно лагерь как тип поселения отражает Культуру 2 (В. Паперный), находящуюся в состоянии застывания, обращенную в прошлое, ориентированную на неподвижность, неизменность и иерархию. Вход как место пересечения границы становится важным элементом архитектуры. Государственная граница превращается в границу между Добром и Злом [Паперный 2012: 6], как и лагерная ограда.

В этом исследовании я пытаюсь приложить рассуждения Гайятри Чакраворти Спивак «Могут ли угнетенные говорить?» к лагерному художнику и его возможности рисовать за колючей проволокой. В условиях тотального института, в которых находились японские военнопленные, ее выводы работают в полной мере.

Я хотела бы уточнить, что в исследовании обращаюсь к социальной памяти как памяти, не отраженной в большом нарративе, а существующей среди определенной социальной группы, поддерживаемой 2–3 поколениями. Именно такая память стала основой *сообщества утраты*, которое, как убедительно показал С. Ушакин, становится основным автором и основным адресатом повествования о травме, в котором циркулируются истории и эмоции, порожденные травматическим опытом [Ушакин 2009: 10].

Интерпретируя рисунки и фотографии, я использовала методы визуальной антропологии, учитывающие не только значения и смыслы изображения, но также производителя и адресата посылки, чтобы расшифровать социальные значения и смыслы изображаемого [Мещеркина: 223]. Таким образом, изображение становится предметом рассматривания в контексте дискурса, а визуальные методы — средством понимания текстов культуры, декодирования образов социальных отношений и индивидуального опыта.

Важными для этой работы стали положения В.А. Подороги о травматической памяти *после Освенцима*, о свидетеле и о памяти тела. Рассуждения В. Подороги о ГУЛАГе как продолжении гражданской войны, типологии палача, его дискуссии с ведущими философами XX в. о лагере и месте человека в нем, о времени «после Освенцима» стали для меня ориентирами современного научного исследования лагеря.

Когда субъект становится объектом, он теряет предикат свободной сознательной воли, больше не владея пространством жизненных значений и не создавая его [В. Подорога]. В плену мужчина теряет свои особые ресурсы, поддерживающие его маскулинность, и сам становится объектом чужих решений. Тогда он начинает остро чувствовать голод, свою худобу, становится чувствительнее к окружающей среде. Появляется тело, переживаемое субъектом. Эти и другие рассуждения М. Фуко о паноптиконе, биополитике и создании послушных тел также существенно помогли мне в осмыслении обильного фактического материала.

Труды А.Н. Мещерякова дали ключ к пониманию японского общества в середине XX в. Его работы, от академических монографий до дачных записей, про-

низанные не только знанием японского общества, но и блестящей способностью связывать большие и мелкие события в цельное концептуальное видение истории и культуры Японии, стимулируют и вдохновляют.

Полезными для исследования стали идеи Ги Дебора о спектакле как особом виде деятельности власти, заключающейся в том, чтобы говорить от имени других. Спектакль — это непрерывная речь, которую современный строй ведет о себе самом, его хвалебный монолог [Дебор: 16], а также положения Б. Гройса о художественной документации, о том, что о жизни в концлагере можно рассказать — ее можно документировать — но невозможно представить взгляду [Гройс: 134].

В своем исследовании я использую термины «плен», «пленные», «военнопленные», имея в виду не дискуссию военных юристов: «военнопленные — интернированные», а статус заключенных в лагере для военнопленных. Должна отметить, что сами авторы чаще всего использовали применительно к своему статусу иероглифы «интернированный» или «солдат».

Цели и источники исследования. Мы привыкли иметь дело с мемуарами, написанными словами или рассказанными с записью на пленку. Я предлагаю увидеть в изобразительном мета-тексте бывших пленников о лагере особый вид мемуаров. Как мемуары они несут в себе и печать индивидуальности автора, и обращенность в прошлое, и связанные с последней два временных плана, двойную точку зрения автора на события, особый хронотоп, обусловленный перспективно-ретроспективным движением мысли повествователя [Маркусь: 1]. Более того, я хочу показать, что рисунки, которые будут представлены в книге, вполне можно рассматривать как документы эпохи, несмотря на то, что они созданы существенно позднее. Варлам Шаламов писал о «прозе, выстраданной как документ». В случае с японскими военнопленными мы видим, что рисунок, выстраданный как документ, представляет собой полноценное уникальное воспоминание.

В этом исследовании я ставлю следующие задачи — показать, как:

— лагерный опыт японских военнопленных отразился в формах изобразительного искусства,

— язык травмы отражает травматическую память в визуальном и вербальном тексте: какие приемы и какие сюжеты формируют язык травмы.

В подаче материала я пытаюсь увидеть лагерный опыт выживания японских военнопленных в СССР не изолированно, а в контексте всей концентрационной «вселенной» — прежде всего в рамках ГУЛАГа, а также учитывая и практики выживания в нацистских концентрационных лагерях. В данном исследовании для меня важны универсальные стратегии выживания человека в лагере как тотальном институте, независимо от типа лагеря, в котором узник был заключен.

В работе были использованы разные виды источников: письменные, визуальные и устные. Прежде всего, это — документы отчетности местных отделений ГУПВИ своему руководству, приказы и распоряжения руководства ГУПВИ, относящиеся к японским военнопленным. Вся эта ведомственная документация опубликована в двух больших сборниках: «Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы» и «Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. 1941–1952. Отчетно-информационные документы и материалы». Опубликованные документы требуют особого подхода к работе с ними, особенно в тех местах, которые связаны с оценкой политической и идеологической работы

среди военнопленных. Подчиняясь неписаным правилам и языку ведомственной бюрократии, авторы рапортов составляли отчеты так, чтобы они были близки к истинному положению дел, но приукрашены в такой степени, чтобы автора нельзя было поймать за руку и разоблачить, в то же самое время чтобы была видна упорная работа администрации, которая успешно справляется с поставленными задачами. Отчеты о политических настроениях среди военнопленных отражали скорее желаемую ситуацию, нежели реальную.

Наиболее ценными источниками стали документы РГВА из фонда 4/п. «Антифашистский отдел при политотделе» ГУПВИ МВД СССР (09.12.1946–24.03.1950), относящиеся к японским военнопленным (Описи № 28я, 29я, 30я, 31я, 32я).

Другой важный вид письменных источников — это воспоминания бывших пленных: Кюзо Като «Сибирь в сердце японца», Юкио Ёсида «В сибирском плену», Итиро Такасуги «Во тьме под северным сиянием. Записки из сибирского плена», Ивао Петера Сано «Тысяча дней в Сибири. Одиссея японо-американского военнопленного», Сиро Такеда и др. Наконец, немало полезной информации я встретила в российских газетах: «Новая газета», «Коммерсант. Власть», «Московский комсомолец», «Дальневосточный Комсомольск» и др., на интернет-форумах и в социальных сетях.

Визуальные источники представлены двумя типами документов, двумя различными подходами к репрезентации — идеологической, создаваемой по приказу властей в лагере, и индивидуальной, созданной по желанию и потребностям авторов — художников на свободе. В соответствующих параграфах я остановлюсь на тоталитарной идеологии репрезентации, которая представлена в свою очередь двумя видами визуальных источников: *агитационной фотографией* и *поднадзорным рисунком*.

Одним из визуальных источников исследования являются рисунки, создававшиеся в лагере, которые можно отнести к жанру *поднадзорный рисунок*. Собранные в альбомы, они представляют собой иллюстрации лагерной жизни, как правило, концептуализированной как путь от политически темных, несознательных солдат к доросшим до идей марксизма борцам за права рабочего класса Японии. Это тот же путь перековки человека, исправительно-трудового и идеологического воздействия на заключенного, в результате которого он пересматривает свои взгляды и становится строителем коммунизма.

Кроме зарисовок лагерной жизни, ее будней и праздников, альбомы содержат и политическую карикатуру на образы международного империализма и *агитационные фотографии*.

Этим архивным документам противостоит другой тип источников — *постлагерный рисунок*, который создавался после возвращения на родину. Художников, рисовавших лагерный опыт, в Японии было немало. Среди почти 600 тыс. вернувшихся из СССР японских пленных можно насчитать более сотни профессиональных художников или любителей, рисовавших картины или писавших книги с большим количеством рисунков. Эта цифра нам кажется большой, потому что в России, как упоминалось, не появились публикации рисунков и воспоминаний бывших военнопленных о своей жизни в стране противника.⁵

5 Рисовали лагерь и выжившие узники нацистских лагерей. Рисунки нескольких десятков узников Ноенгамме из разных стран Европы были опубликованы Майке Брюнс: Maike Bruhns: „Die Zeichnung überlebt...“. Bildzeugnisse von Häftlingen des KZ Neuengamme. Hamburg 2007 (ISBN 978-3-86108-543-0).

О том, как важны образы лагеря в литературе, красноречиво говорит человеческий и творческий подвиг Варлама Шаламова. Воркута и Норильск не существуют в той степени, в какой существует Колыма со своим концентрационным адом, потому что не нашлось художника, сумевшего рассказать об этом адекватно масштабам того ада [Нич: сайт]. Если многие живописные полотна былых веков на библейскую тему в наши дни требуют комментариев специалиста даже для образованного человека, то и рисунки на тему советского лагеря, пусть и снабженные авторскими комментариями, остаются недостаточно ясными и нуждаются в экспертных подсказках людей из той, лагерной, культуры. Такой экспертизой, компетентным мнением, уточняющим, объясняющим, одушевляющим те или иные сюжеты лагерной жизни японских художников, для меня выступает В. Шаламов с корпусом его «Колымских рассказов», который стал советским эпосом лагерного XX века.

Мое исследование насыщено ссылками на работы В. Шаламова, Ж. Росси, Ю. Марголина, Л. Разгона, которые объясняют подробнее то, что японцами словами не проговорено. Эти авторы испытали лагеря на своем опыте, но увидели его изнутри знакомых советских реалий. Думаю, что прямое цитирование и сопоставление разных лагерных опытов, близких по своей сути, позволит читателям XXI в. лучше почувствовать универсальность лагерного опыта японских пленников, а японским читателям — понять, что практики советского лагеря относились не только к японским военнопленным. Вот как писали два автора об одном и том же — соке стланика.

Во время отдыха нам давали сок листьев сосны. Это для здоровья... Сок из листьев сосны. *Не очень вкусно.* Листья сосны хорошо пахнут [Ватанабэ: 214].

...темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед — за этим строго следили [Шаламов 2009: 27–28].

Мы можем сравнить два разных отзыва об одном напитке. Как скромно пишет Ватанабэ «не очень вкусно» и как подробно В. Шаламов, в оригинале на нескольких страницах, описывает это средство лагерного воздействия. Слова Ватанабэ, который стремится не выпячивать свои чувства, иначе выглядят после оценки Шаламова, расставляющего акценты в самых плохо артикулированных движениях души за колючей проволокой для нас, не знающих сок стланика на вкус.

Миллионы советских людей без всякой вины — не два и не шесть лет, а как минимум десять лет, меньше срока политическим не давали, и как максимум двадцать пять лет — жили в условиях ничуть не лучших, будучи «в плену в родном отечестве». Более того, у военнопленных была одна коллективная вина и судьба. В конце концов были родное государство и международные договоры, а в ГУЛАГе заключенный оставался со своей статьей один на один во враждебном лагерном мире.

Я сознательно привожу свидетельские показания узников ГУЛАГа, а также Освенцима и других нацистских концлагерей. Так можно увидеть общую бесчеловечную сущность концентрационной системы тоталитарных режимов, тем более что опыт выживания и гибели людей в нацистских концлагерях хорошо изучен в мировой научной литературе и широко представлен в мемуаристике.

Язык травмы. На материалах постлагерного рисунка и комментариев к ним я хочу показать *язык травмы*:

- это наиболее травматические темы и сюжеты;
- приемы, которыми травма говорит о себе: понижение статуса, обнажение, деперсонализация, инфантилизация;
- образы, проявляющие травму: образы унижения, смерти, инвалидности, нечистот.

Концепция языка травмы у меня стала складываться при анализе нарративов о депортации калмыков. Это были устные спонтанные рассказы о жизни в Сибири калмыков, высланных туда в 1943 г. или родившихся там. Для устной речи было характерно преобладающее использование пассивных страдательных грамматических конструкций с неопределенным субъектом в сочетании с безличной глагольной формой, например: *погнали, погрузили, увезли*. В калмыцких нарративах также регулярно встречаются невольные приемы снижения статуса и сюжеты униженности, близкие мемуарным стратегиям японских художников плена, что позволяет предположить об универсальности языка травмы для повествования о ней в разных культурах.

Память о любом травматическом событии, особенно связанном с длительной депривацией человека, массовой гибелью людей, отражается в том, что человеку трудно рассказать об этом. Но молчание и даже забвение не излечивают травму. Когда бывшие военнопленные решились предложить свои воспоминания публичному осмыслению, то в каждом нарративе травма говорила о себе.

В этом исследовании я обсуждаю комплекс сюжетов, приемов и образов, каждый из которых характеризует, а в совокупности они создают язык травмы. Мужская память, как правило, не отражает вопросы телесности. Но утрата субъектности после пленения вела к приобретению тела, а травматическая мужская память это фиксировала и отражала в языке. Поднимая вопросы телесности, она хранит и поныне воспоминания о том, как было холодно и голодно, как не хватало одежды и обуви. Пленный помнит посредством своего тела. Как сформулировал В. Подорога, «не ты помнишь, а тебя помнит собственное тело» [Подорога 2013: 118].

Язык травмы отражается в рисунках особенно унижительными сюжетами. Сюжеты, представленные в исследовании как значимые, присутствуют в работах каждого художника. Их обязательное наличие в рисунках о лагере дает основание считать их проявлением языка травмы. Несмотря на то, что лагерный опыт каждого пленного уникален, как уникальны рисунки каждого автора, все произведения можно сгруппировать сюжетно и увидеть в них особые формы повествования.

Что же это за сюжеты, которые так травмировали пленных? В первую очередь, это сюжет о мародерстве, о беспомощности безоружных солдат и офицеров перед вооруженными солдатами противника, об унижении невозможностью защитить себя и свое имущество, среди которого были не только необходимые вещи, как одежда, авторучки, постельное белье, но и символы родины — флаги государства и *ниссёки (хиномару)* и *кёкоуджицуки*. Такая униженность противоречила представлениям солдат о достоинстве и мужественности.

Травматичным был сюжет, связанный с медицинским осмотром, который в лагере всегда грозил быть для пленного последним, был своего рода процедурой селекции: от того, к какой категории врачи относили больных, часто зависела тяжесть труда и сама возможность выжить. Унижительной была также и процедура

«неприличного жеста», с помощью которой определяли тот или иной класс работоспособности. По существу и по форме медосмотр унижал достоинство человека, травмируя и самой регулярностью раз в месяц, как другой регулярностью унижала проверка — каждый день, утром и вечером.

В сюжете с проверкой сошлись несколько травмирующих факторов: длительное стояние усталых людей, особенно на морозе или под дождем, когда очень хотелось есть, спать, болели уставшие спина и ноги, раздражающее неумение конвоиров быстро сосчитать пленных. Собственно, процедура обысков, при которой охранник мог отобрать любую понравившуюся вещь, была неприятна сама по себе, тем более что в это время охранники могли избить. Бессмысленность проверки подчеркивала зависимый статус, низводила пленных к положению детей, для которых дисциплинарные практики должны быть полезными.

Дележ хлеба — пожалуй, самый пронзительный сюжет языка травмы. Здесь сошлись чувство голода и справедливости, ущемленное достоинство — в этом сюжете отражено большее: это дележ жизни, это несогласие с лотереей, ставками в которой стали жизнь и смерть, с коллективной судьбой пленных квантунцев, каждый десятый из которых был обречен.

Вши, клопы и блохи отражают травму длительного существования в такой грязи, что самим пленникам было трудно уважать себя, эти антисанитарные условия были близки скотским. Статус пленных, близкий к положению рабочего скота, — так можно прочесть послание сюжетов с насекомыми.

Членовредительство и инвалидность — это также сюжеты и образы языка травмы, говорящие о моральной и правовой ущербности пленных в чужой стране-победительнице. Трупы появляются не только как страшные иллюстрации обыденных лагерных сюжетов, но вместе с образами смерти — черепами, могильными крестами, крестами распятия.

Невидимые в публичной жизни вши и экскременты проявляются в воспоминаниях бывших военнопленных, которые в те годы тоже были невидимы за колючей проволокой, и для советских граждан и тем более для японцев. Когда бывшие интернированные своими воспоминаниями обозначили свое присутствие в японском обществе и в японской истории, образы, проступившие при фиксации травматического прошлого, оказались неприличными, невозможными для японского читателя или зрителя, как невозможен и собственно лагерный опыт.

Оказалось, что наиболее унижительные ситуации проступали и фиксировались позже на бумаге. Все наиболее распространенные сюжеты, можно сказать, лагерные сцены, говорили о бесправии и унижении человеческого достоинства. Именно такое состояние трудно забыть, именно эти сюжеты просятся на карандаш в первую очередь.

Повествование о лагерных практиках состоит не только из рисунков, но также из большого количества прямых голосов — собственных голосов пленных, рассказавших о своей жизни в СССР. Я предпочла не пересказывать, не обобщать, а цитировать их комментарии к рисункам, без купюр, чтобы многоголосие свидетельских показаний выявило, что было общим для всех лагерей и что было уникальным для каждого автора. Эти сотни маленьких зарисовок также позволяют анализировать и язык травмы — то, какими словами и приемами травматический нарратив обнаруживал и оформлял себя.

Считается, что по степени воздействия, по своему непосредственному эффекту визуальные образы превосходят любой письменный текст [Альчук: 264]. Соединение рисунков и подписей к ним является, по мнению российского социолога Е. Трубиной, возможно, одной из самых плодотворных художественных стратегий репрезентации травмы [Трубина 2009: 177]. Именно так делали японские авторы, уверенные, что если рисовать лагерь, одних картин будет недостаточно для зрителя, и автору хочется рядом комментировать словами и добавлять текст и в поле рисунка/картины, а позже в альбомах дополнять рисунки и картины комментариями. Если рассказывать о лагере, то не хватает образов, и авторы делают зарисовки на полях, уверенные, что без дополнительного объяснения обычный человек вряд ли поймет сюжет и смысл послания.

3. СИБИРЬ В БИОГРАФИЯХ ХУДОЖНИКОВ ПЛЕНА

Среди японских художников, рисовавших сибирские лагеря, были и таланты национального масштаба, такие как Ясуо Казуки и Син Миязаки, чьи работы украшают Национальный музей современного искусства в Токио и другие крупные собрания современного искусства, и малоизвестные любители.

Для этого исследования были отобраны работы десяти художников, среди которых четверо профессиональных — Ясуо Казуки, Син Миязаки, Киёси Сато, Цуёси Хисанага. Самодельные художники Моринари Ооути, Ёсио Ватанабэ, Ёсио Уэцухара, Нобуо Киути, Исаму Ёсида, Кинси Такэути рисовали для себя и своего узкого круга, но со временем их работы также приобрели общественное звучание и такую же ценность для истории, как и работы вышеназванных мастеров первой величины.

Моринари Ооути, Ёсио Ватанабэ, Нобуо Киути и Исаму Ёсида оставили свои воспоминания в форме дневниково-мемуарных записей, имеющих в Японии долгую историю. Так же как в средневековых произведениях, в этих текстах чувствуется открытая установка на документальность, отражен конкретный социум, хронологический охват не выходит за биографические рамки авторов. С другой стороны, они восходят и к «повестям-картинкам», э-моногатари, которые при наличии одной сквозной темы делятся на особо волнующие эпизоды, сопровождающиеся иллюстрациями. Эти иллюстрации служат дополнительным квантификатором повествования, самой структурой текста, предрасположенного к «покадровому» членению [Мещеряков 1991: 142–145].

Но в отличие от средневековых образцов авторы, бывшие военнопленные, взялись писать дневниковые мемуары с конкретной целью — поделиться пережитым уникальным опытом, выполнить предназначение морального свидетеля. С похожими мотивами брались за перо узники ГУЛАГа, и это требовало большой гражданской смелости, так как воспоминания о ГУЛАГе были текстами, направленными на обличение самого советского строя. Как и советский этнограф Н.И. Гаген-Торн, бывшие военнопленные решились написать о себе «по ту сторону жизни в лагерях и о тех мыслях, которые приходят сейчас, по эту сторону» [Гаген-Торн: 5]. У себя дома, в Японии, бывшие военнопленные обличали порядки в чужой стране, с иным социальным строем, но им хотелось поделиться и трудностями выживания в северной стране, и впечатлениями о ней и ее жителях. Даже используя традиционные жанры (эникки и ироха карты), авторы рисуют памятные и значимые сюжеты и «вслед за

кистью» комментируют свои рисунки. Японская пословица гласит: когда рисуешь ветку, нужно слышать дыхание ветра. Что надо слышать, рисуя лагерь? Окрик «дай», гимн «Интернационал»?

Ясуо Казуки (1911–1974) — выдающийся японский художник, родился в г. Мисуми (преф. Ямагути). Он получил художественное образование в художественной школе Кавабаты, затем в школе искусств в Токио. Я. Казуки был призван в армию в 1943 г., оказался в Квантунской армии в Маньчжурии, откуда был интернирован в Сибирь. Я. Казуки повезло: его лагерь длился всего 18 месяцев, и он в них не расставался с карандашом. После освобождения из Сибири в 1947 г. Казуки вернулся к мольберту уже через два месяца, продолжил писать и получил национальное признание. Его картины хранятся в крупнейших музеях современного искусства Японии, а в г. Мисуми открыт музей творчества Ясуо Казуки.

Для творческого почерка Я. Казуки характерно обращение к экзистенциальным темам. Эта тематика конкретизируется в его «Сибирской серии». Кроме визуального ряда художник комментирует свои работы, как будто уверен, что простой японский зритель не в состоянии понять и прочувствовать образы лагеря, которые он воссоздавал на своих полотнах. Вот как Я. Казуки писал об этом.

Я по-настоящему выучился рисовать в Сибири. <...> в Сибири сама возможность рисовать — это привилегия. Когда я потерял эту привилегию, только тогда я узнал, что она необходима художнику, как вода для рыбы, чтобы жить. Поэтому в Сибири я хотел рисовать независимо от оценок и репутации, хотел просто рисовать. Раньше я с трудом искал сюжет, а в Сибири все само собой из меня вытекало, как из родника.

Я снова переживаю Сибирь, когда ее рисую. Что такое Сибирь для меня? Однажды она напала на меня, поглотила и вытолкнула, а теперь я ее через силу выкладываю на полотно, покоряю, пытаюсь ее всю поймать целиком [Казуки: 158–159].

Военнопленные, умевшие рисовать, иногда работали для лагерной администрации и имели некоторые привилегии. Судьба давала им шанс рисовать, чтобы выжить и снова рисовать на свободе. Как свидетельствует искусствовед Хиденори Итакура, также бывший пленник, советский офицер спросил Я. Казуки: «Правда, что ты по профессии художник? — Да. — Нарисуй на стенах такие рисунки о революции, которые понравились бы Сталину, и портрет Сталина с орденами на груди. Казуки вначале отказывался, а потом уступил. — Тогда дайте мне краски, я буду рисовать» [Итакура: истоки черного мира Ясуо Казуки, который наследует традиции японской живописи // Казуки. Моя Сибирь: 160].

В Сибири красок не было. В конце концов я стал сам готовить краски, собирал сажу, угли, машинное масло, собирал древесные соки и приготовил черную краску. Тушь я готовил из гаоляна. Так я писал разные лозунги, картины и портрет Сталина. Советские солдаты удивились и похвалили, говорили, что я очень хороший художник, и мое положение стало лучше. Издевательства японских товарищей сократились [Казуки 161].

После репатриации Я. Казуки вернулся к фабричным краскам, пока не понял, что ими не выразить настоящую Сибирь, и в течение многих лет художник писал красками собственного изготовления. Живопись Я. Казуки всегда охотно покупали, но он никогда не продавал свои полотна из «Сибирской серии». Казуки известен прежде всего своей живописью, но не менее интересны его графические работы,

инсталляции, коллажи и ассамбляжи, которые он выполнял еще в 1950-е гг.

Киёси Сато (1925–2015) был призван в армию и поступил в офицерскую школу при Квантунской армии, откуда в 1945 г. был интернирован в Сибирь. В 1947 г. вернулся в Японию и до 1951 г. лечился. В 1959 г. он окончил художественное училище в Мусасино по специальности «европейская живопись». В 1965 г. открыл архитектурное бюро. К. Сато начинает рисовать и писать свою Сибирь в 1970-е гг. В 1976 г. состоялась его первая персональная выставка, а в 1979 г. было опубликовано повествование о сибирском плене, в котором картинки сопровождались текстом. Однако К. Сато было недостаточно только делиться своими переживаниями, он организует бывших военнопленных и в 1981 г. издает специальный номер журнала, посвященный сибирскому военнопленным. В 1986 г. вышел его альбом «Молитва сибирских пленников», а в 1989 г. — альбом «Под сверкающей Полярной звездой».

К. Сато стал одним из организаторов художественной выставки бывших пленников, которая состоялась в Музее интернирования и репатриации в Майдзуру в 1995 г. К выставке был издан каталог, который убедительно демонстрирует, что опыт рисования лагеря был достаточно распространен среди бывших японских военнопленных. К. Сато также писал стихи и эссе, из-под его пера вышли поэтические сборники «Черный хлеб. Автопортрет» (1994), «Одинокий солдат» (2003). Многие работы Киёси Сато можно увидеть на его сайте www.isiatama.com

Син Миязаки был знаком с Я. Казуки, который считал его своим наследником в теме плена. Имя Миязаки стало известно в художественном мире в 1966 г., когда он получил престижную премию Ясуи за полотно «Странствующие артисты» из «Сибирской серии». Миязаки занимался классической живописью, скульптурой, а также создавал композиции из текстиля. В 1994 г. в Японии состоялась выставка Сина Миязаки «Память леса и земли» в пяти разных галереях. Зрителей особенно впечатлила работа «Яблонувый. Скорбная история военнопленного».

В этом исследовании я рассматриваю работы Миязаки из альбома «Другая память о Сибири» (1998), в предисловии к которому он писал:

До сих пор я сам никогда не рассказывал о своей жизни в плену. Это никто и не может понять, кроме тех, кто там был. Если кто и хотел бы рассказать, то он не может выговориться, не может договорить [Миязаки: 7].

Цуёси Хисанага стал учиться рисованию после того как вышел на пенсию, под впечатлением работ Я. Казуки. В 1996 г. вся «Сибирская серия» Хисанага была приобретена Художественным музеем в Сэтагайя. В этом исследовании я использовала его работы из альбома «Спи, мой друг. Реквием усопшим».

Прошло 50 лет. Каждый прожитый день в благополучной Японии я вспоминаю тяжелую жизнь в Сибири. Я стал учиться рисованию в 60 лет. Уже 10 лет как рисую. В моем сердце восстанавливаются разные картины времен интернирования. Моему окружению, особенно тем, кто не прошел военных испытаний, рассказать ясно о том, что было, о братьях, что навеки заснули в тундре, невозможно. Поэтому, хотя рисую не очень хорошо, я решил рисовать соратников, которые погибли в чужой стране с мечтой о возвращении. Мне казалось, что я не могу умереть, пока не нарисую их. Я посвящаю свою работу товарищам, которых я сам похоронил, как реквием им [Хисанага: 6–7].

Исаму Ёсида написал дневник своего интернирования «Долгий путь японского солдата домой», в котором более 200 графических работ сопровождаются авторскими комментариями. Этот дневник увидел свет в Японии в 1985 г. и неоднократно переиздавался. Как писал в нем И. Ёсида,

я почувствовал необходимость сохранить память о том, как мы тогда страдали. Уже завершены сотни рисунков о моем сибирском опыте, но я полон решимости провести перед холстом всю оставшуюся часть жизни, чтобы продолжить работу. Я считаю, что это то, что я могу сделать, чтобы утешить души моих товарищей, и это также миссия, которую я получил в качестве потерпевшего.

Выставки, прошедшие в России в 1992–1993 гг., были похожи на сон. Я не мог себе представить саму эту возможность и ехал туда, опасаясь за свою жизнь. Выставку во Владивостоке посетили премьер-министр Японии Уно и губернатор региона, это событие широко освещалось в средствах массовой информации. Я был поражен размахом выставки и количеством посетителей, которые шли один за другим. Я не могу представить, чтобы такое отношение было в Японии [Ёсида: 211].

Нобуо Киути — автор одного из самых популярных сайтов «Записки японского военнопленного, бывшего воздушного десантника Нобуо Киути» (<http://kiuchi.jp.org/>), который с октября 1996 г. посетило 2 478 360 читателей.

После окончания авиашколы Киути был направлен на службу в Маньчжурию, где и разделил судьбу всей Квантунской армии. Киути вернулся в Японию в 1948 г., тогда и начал рисовать. Рисунки Н. Киути полны доброты, сердечности и теплого юмора [Киути: сайт].

«Записки бывшего военного десантника» представлены его сыном Масато Киути. Лагерный опыт Н. Киути оказался довольно щадящим, в лагерях восточной Украины, где содержались военнопленные из европейских стран, индоктринация не приняла того размаха, какой мы видим в Хабаровске, да и общая атмосфера была человечнее, что позволяло автору сохранить веру, что все люди — одна семья.

Обычные картины войны — это чаще всего трагические сцены, изображающие убийства и сражения, в то время как работа моего отца написана не с позиции победителей или побеждённых, в ней он описывает простые человеческие чувства — радость и гнев, веселье и печаль, независимо от того, кому они принадлежат, японцу или русскому. К тому же мой отец хотел донести до всех своё послание о том, что все люди — это одна семья, в которой недопустимы бессмысленные войны [Киути: сайт].

Моринари Ооути написал книгу «Старые солдатские ботинки» в 1950 г. перед операцией на легкие, поспешив оставить свои воспоминания на случай, если операция не будет удачной. Он сделал это, чтобы люди узнали о его жизни в сибирском плену, и в надежде, что она поможет предотвратить повторение подобной трагедии. Когда он приступил к своей работе, после репатриации прошло два года, но М. Ооути посчитал, что «может писать взвешенно».

Описывая свою судьбу, я хочу показать человеческие качества тех, кто пережил лагерь. Я рисовал свои воспоминания, изображая то, что сам видел, слышал и чувствовал. Здесь нет преувеличения, но есть много вещей, которые в обычной жизни трудно представить. <...> Лагерная жизнь обнаруживает суть человека, его подлинное лицо. То офицер становится горячим коммунистом в лагере, то коварный человек, воровавший в лагере еду, после возвращения становится во главе демокра-

тического движения. Для меня лагерь стал ценным опытом наблюдения того, как меняются люди. Моя книга — не цельное повествование, а калейдоскоп маленьких историй и картинок [Ооути: 3].

М. Ооути вспоминал, как ему приходилось заниматься наглядной агитацией, и благодарен судьбе за это:

Меня попросили нарисовать стенгазету. Хорошо, что теперь меня иногда освобождают от работы [Ооути: 118].

Ёсио Ватанабэ родился в 1915 г., он не служил в армии, а работал в полиции на Южном Сахалине, где был арестован и вывезен вместе с солдатами Квантунской армии. В плену в СССР Ё. Ватанабэ провел три года. В 1978 г. вышла его книга «Небо на чужбине. Иллюстрированный дневник о жизни в сибирском плену», который по жанру представляет собой эникки.

Свой дневник я писал в Японии, когда восстанавливал в памяти историю плена и думал о тех, кто не смог вернуться. Я хотел выразить чувства тех соратников, кто погиб под чужим небом. Мой дневник с картинками вызывал тяжелые воспоминания у нескольких людей. Поэтому я хранил его больше 30 лет. Но моя дочь нашла его и опубликовала в газете «Токио синбун» [Ватанабэ: 1].

Ёсио Уэцухара (1911–1989), с 1936 г. работал в Маньчжурии. В Сибири он оказался в 35-летнем возрасте в лагере Барей, а потом в Чите, где работал на рудниках. Уэцухара был слаб здоровьем, и его отправили в культурную часть, где он редактировал стенгазету и рисовал. Спустя 35 лет Ё. Уэцухара вернулся к теме плена и в 1980 г. нарисовал два цикла: «Ироха карты лагеря Барей» и «Новые ироха карты Барей».

Ироха — старый японский алфавит, который наизусть учили все первоклассники. Свой лагерный опыт Ё. Уэцухара поместил в рамки детской игры, как бы утверждая, что то, что обычным соотечественникам казалось невероятным и невозможным, для тех, кто прошел советские лагеря, было простым и ясным, как азбучные истины. Примерно так же Примо Леви вписывал свой освенцимский опыт в рамки периодической таблицы Д. Менделеева. Возможно, оба автора искали известную структуру, достаточно простую для тех, кто прошел эту школу и выучил ее уроки, чтобы поместить в нее свой уникальный опыт выживания.

Кинси Такэути родился в префектуре Сидзуока и до войны работал журналистом в газете «Синайти синбун» в г. Нагойя, затем уехал в Маньчжурию на работу на железной дороге, откуда был интернирован. Он вернулся в Японию в конце 1947 г. Друзья спрашивали его о том, какова была жизнь в Сибири. Не раз пересказывая свою эпопею, Такэути решил, что иллюстрации лучше объяснят его рассказы. Получилась книга о том, как японские военнопленные жили в СССР, — «Сквозь Сибирь. Иллюстрированные рассказы о лагере», которую издательство Коку сё канко кай выпустило в 1982 г. в серии «Воспоминания интернированных в Сибири», № 4.

Как признается автор, хотя рисунки детские, в них нет ни преувеличения, ни лжи.

Мне кажется, что мой сибирский опыт по сравнению с другими был не таким тяжелым, потому что я был унтер-офицером. Все, что я написал — правда [Такэути: 232].

Стоит отметить, что почти все художники рисовали карты своих сибирских передвижений, от полицейского Ё. Ватанабэ, чья профессия отражается в протокольном стиле изложения дневниковых записей, до Я. Казуки и К. Сато, которые также находили в своих глянцевах альбомах подходящее место, чтобы начертить свои сибирские маршруты (рис. 1).

Почти все художники, работы которых стали важными для исследования, в сибирских лагерях имели небольшие привилегии — иногда их освобождали от общих работ для оформления наглядной агитации. Вероятно, такая «избранность» откликнулась возможностью донести теперь свои мысли, а не чужие, как приходилось в Сибири, до своего читателя.

